

А. А. УХТОМСКИЙ

Правда сердца

Алексей Алексеевич Ухтомский
Игорь С. Кузьмичев
Правда сердца. Письма к В.
А. Платоновой (1906–1942)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24822328

*Алексей Ухтомский. Правда сердца. Письма к В. А. Платоновой (1906–1942): Трактаг; Санкт-Петербург; 2017
ISBN 978-5-9909419-6-0*

Аннотация

Алексей Алексеевич Ухтомский, ученый с мировым именем, более трех десятилетий (1906–1942) переписываясь с Варварой Александровной Платоновой, в письмах к ней крайне редко касался физиологической науки и университетской среды. Их переписка, сравнимая со страницами эпистолярного романа, запечатлела – в глухие, трагические времена – хронику их любви: от светлого порыва в молодости к любви в высшем, христианском ее понимании, когда духовное родство оказывается много дороже житейского счастья.

Содержание

Предисловие	7
Правда сердца	24
1	24
2	26
3	28
4	30
5	34
6	37
7	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Алексей Ухтомский

**Правда сердца. Письма к В.
А. Платоновой (1906–1942)**



© Кузьмичев И. С., составление, предисловие, 2017

© Издательство «Трактат», оформление, 2017

Предисловие

Они встретились осенью 1905 года. Их переписка охватывает более трех с половиной десятилетий.

Она жила в родительской семье на 13-й линии Васильевского острова, на углу Большого проспекта. Он холостяком – недолго на Тучковой набережной, а потом еще ближе к ней, в казенной квартирке на 16-й линии: когда обосновался на кафедре физиологии. Там он так и прожил всю жизнь, даже академиком не изменив своей «вышке», своему «закуту», там и скончался в блокадном августе 1942 года.

В глухие, трагические времена два этих строгих и благочестивых человека исповедывались друг другу, и переписка их, сравнимая со страницами эпистолярного романа, запечатлела удивительную историю их взаимоотношений – от светлого порыва к совместной жизни в молодости до драматических превратностей в дальнейшем и единения на почве религиозной, запечатлела потаенную хронику их любви – в высшем, христианском ее понимании, когда духовное родство оказывается дороже житейского счастья.¹

Как-то в 1915 году Ухтомский объяснял Варваре Александровне: «Мне, знаете ли, важно для самого себя высказаться – оформить свои мысли. В былое время это лучше всего уда-

¹ Подробнее об этом см.: *Кузьмичев И. С. А. А. Ухтомский и В. А. Платонова: Эпистолярная хроника.* СПб., 2000.

валось мне в своем дневнике, когда говоришь сам с собой! Но теперь мне не удается писать дневник, так что нередко я записываю туда для памяти самому себе то, что уже написал в письмах. Пиша письмо, я впервые улавливаю свою мысль, смутно бродящую в душе, так что тут же, в мыслях, впервые и самому себе раскрываю я некоторые стороны своей внутренней жизни. И в особенности это происходит, когда я пишу Вам... Здесь я столько же беседую с Вами, сколько с самим собой...»

Такая вот откровенность. И неслучайно письма, заменявшие ему дневник, Ухтомский просил не выбрасывать. В них он запечатлелся как доверчивый собеседник и как аскет, как трибун и как затворник, заботливый друг и человек до старости по-детски ранимый, в любой момент готовый «оградить себя молчанием» от мелочной суеты и бесовской сутолоки ради «своей беседы с Высшим».

В письмах к Платоновой он почти не касался физиологической науки, для этого находились другие адресаты, их было немало. А Варвару Александровну не ахти как интересовала университетская среда и позже ничуть не смущало его солидное положение академика. Он всегда оставался для нее Алексеюшкой, родным, близким по духу, по вере и по судьбе. Она же – словно воплощала его собственную душу, и разговаривать с нею в письмах было ему – как дышать.

Переписка Ухтомского с Платоновой «переводима» на общедоступный язык лишь до известной степени. Их письма

друг другу, во всей полифонии эмоциональных оттенков, намеков, скрытых смыслов, были до конца вняты им одним, и то, что на посторонний взгляд может показаться странным и вызвать недоумение, для них было нормально и объяснимо.

Письма двоих, – предназначенные только им самим. И любой, даже самый тактичный, читатель рискует оказаться непрошеным гостем в укромном духовном убежище.

...Он звал свою юную корреспондентку с осторожной почтительностью по имени и отчеству – Варварой Александровной, сразу же задав в письмах к ней наставительный тон интеллектуальной беседы, дотошно излагал спонтанно рождавшиеся мысли и, явно склонный к назидательности, если не сказать к проповедничеству, внушал ей апостольские максимы. Мог рассказать о глупых дрызгах в родительской семье, о своеволии «бездушной, безгранично эгоистической матери», угнетавшей дочерей мелочной опекой, и заклеить «тупую и слепую злобу проклятого мещанского мирозерцания». Мог пожаловаться на утомление от вздорных кляуз в Никольском приходе и просил подумать, отчего предприимчивость у русского человека сделалась синонимом вороватости, – не есть ли это черта, пробивающаяся в нашей истории с самих собирателей Руси? Он писал ей охотно и обо всем, но с особой настойчивостью пытался донести до Варвары Александровны свое личное представление о «народной вере и Церкви», не «господской и поповской», а истинной – старорусской. Заметил как-то: «Ищет народ. Хо-

чется быть с народной душой».

С присущим ему харизматическим даром внушения, Ухтомский направлял разговор с Варварой Александровной в религиозное русло, в тайне почувствовав, что встретит тут благодатную почву для взаимопонимания.

В письмах к Платоновой разговор о прозревании Бога во всемирной истории, о христианском идеале жизни и роли Церкви в нравственном самовоспитании сопровождается навязчивой мыслью: что есть Бог для России? Ухтомский пристально оглядывал тысячелетнее прошлое страны, оценивал события на рубеже веков с этой точки зрения и не мог побороть в себе тревогу. Процесс развития народного самосознания он воспринимал сквозь призму личного духовного опыта и хотел взвесить долю индивидуальной ответственности за все, чему предстоит быть. Уже вскоре после обескураживающей русско-японской войны Ухтомский ощутил симптомы надвигающегося на страну идеологического раздора, государственной нестабильности и морального разлада, почувствовав себя одиноким в честном стремлении «работать русское дело».

С отчаянием он признавался Варваре Александровне: «Страшно сказать, я привык где-то в самой глубине души видеть в окружающих людях (за немногими исключениями) вредных для России людей. Сидят люди передо мной и болтают, а я на них смотрю и чувствую только одно, что они мне ни в чем не товарищи, ничего общего у меня с ними нет,

и надо от них только беречься, т. е. собственно беречь свое дело».

Он был одинок в служении не только своему делу, но и своему идеалу «прежней, детской, естественной жизни с легким и прямым духом». Одиночество томило его, то поднимаясь к критической отметке, то утихая и смиряясь. Мечта о такой жизни в любви к ближнему, краеугольный камень которой заложила в нем покойная тетя Анна Николаевна, была зыбкой, влекущей и лишь на маленьких островках, отвоєванных у обыденности, обещала воплотиться в реальность.

Таким островком для Ухтомского и стала В. А. Платонова.

Он быстро углядел в ней столь же одинокое сердце, способное «решительно отвергнуться себя» ради евангельской, бескорыстной любви.

Ухтомский не мог не признать: встреча с Варварой Александровной зовет его к ответственным поступкам. Привычное аскетическое самоотречение противилось в нем всплеску горячего чувства. Но «головные» преграды, сомнения и страхи – пусть и колеблясь! – он готов был отместить, и решение напрашивалось само собой.

«Откинув условности и границы, поставленные *случайными, буржуазными моментами жизни*, – записывал он в дневнике 2 декабря 1905 года, – *я чувствую*, что во имя единой великой и истинной жизни имею право питать чувство к В. А., если только я способен и достаточно силен еще, чтобы

поднять живое, действительное бремя жизни».

Варя была по-институтски образованна, знала французский, служила в бухгалтерском отделе правления Рязанско-Уральской железной дороги, отличалась исполнительностью, аккуратностью, но мысли ее были заняты вовсе не «контролем сборов», чем она ведала в конторе, а стихами Лермонтова и Надсона, Бальмонта и Апухтина, музыкой Шопена и Бетховена, Шаляпиным в роли царя Бориса, художественными выставками и книгами, зовущими думать. О том же Наполеоне. Или о старинных праведниках. И даже сочинениях философского толка – с именами Канта, Владимира Соловьева, Хомякова...

Варя мечтала, как они, невзирая на разницу интеллектов и житейские неудобства, будут вместе. «Мне обидно думать, – записывала она в дневнике, – что я должна ждать какого-то „положения“ на его службе, чтобы сделаться его женой. Да, чтобы быть его женой, мне надо и средства и положение, но ведь не женой, не женой я буду ему, не ею хочу я быть и не буду ею, а другом, равным ему человеком, таким же сильным, как он, таким же способным, как он, на труд и лишения товарищем хочу и буду я». Их совместная жизнь, здоровая и цельная, прекрасная «среди книг и мысли», манила ее «как грёза», и Варя уповала на терпение, на свою женскую податливость, надеялась, что Алексеюшка поможет ей «еще больше идти навстречу людям».

Однако счастливые ожидания затягивались, какая-то в их

отношениях возникала натужность, и Варя, с ее порывистостью и прямоотой, горевала, сдерживая себя. Она старалась и разгадать Ухтомского, и разобраться окончательно в себе, чувствуя, что любит Алексея Алексеевича безоглядно. Она и надеялась, и сердилась, и тосковала, и со все возрастающим упорством искала выход, допытывалась у самой себя: куда подталкивает ее судьба? Наблюдая за собой, Варя замечала, что ей всегда было неуютно в «большом обществе», перспектива провести вечер в гостиной повергала ее в трепет. «В деревне я одна, та же почти и дома, но в гостиных я другая совсем», – записывала она в дневнике и огорчалась: «Теперь я не бываю нигде, и никто уже меня не зовет, круг моих личных знакомых сужен донельзя, и уже это не круг знакомых, а круг дорогих, родных мне людей». Казалось, она, как и раньше, всех окружавших ее любила, но контакт с ними терял прежний смысл. «Зачем я с ними, чуждая их удовольствий, их стремлений? – спрашивала она. – Уйди я из нашего круга, меня вначале будут жалеть, но обязательно прибавят, а ведь она странная была такая. Я лишняя, я это чувствую все сильнее и сильнее, а мне так и хочется быть ею, но быть действующим лицом, как все наши, я не хочу да и не могу».

Варя внимательно читала духоспасительные книги. Увлеклась по совету Ухтомского «Лествицей». Особо подействовали на нее богословские сочинения Хомякова. Взволнованность при стоянии в храме на молитве, потребность исповеди и духовного наущения укрепили и углубляли ее ве-

ру, ее послушание, но этого оказывалось мало, – хотелось, испытывая себя, осмыслить свой путь к Богу. В июне 1910 года она рассказывала Ухтомскому, что «Лествица» пробудила в ней доселе дремавший трепет перед правдой человеческой жизни. Объясняла ему: прочитай она эту книгу «еще в институте, была бы, пожалуй, в монастыре», да и теперь встретила на ее страницах много пережитого, «близкого и такого родного, такого родного!»

Ухтомский по фамильной традиции принадлежал к старообрядцам-поповцам. Ярославское Заволжье, где он родился, было заселено староверами «Филиппова согласия»: их строгие жизненные правила влияли на княжескую семью, и Алексей Алексеевич был воспитан преданиями «этого замкнутого, и в то же время коренного русского крестьянства». В Петербурге он участвовал в деятельности Единоверческого братства: избирался членом совета в Никольском приходе, заведывал там – безвозмездно – реальным училищем, пребывавшим под покровительством императрицы Александры Федоровны, а в июле 1912 года был избран старостой Никольской церкви. Среди единоверцев князь Ухтомский пользовался безусловным авторитетом как ревностный служитель «древлего благочестия» и как эрудит-богослов.

Приход Варвары Александровны к единоверцам сулил ей исцеление от затянувшегося душевного разлада, а самым болезненным моментом в их долголетних отношениях стала весна 1912 года. Вот-вот они должны были обвенчаться. Но

в очередной – какой уже по счету раз! – дело застопорилось.

В письме от 11 августа Ухтомский, неуклюже оправдываясь, объявил: «Что-то внутреннее и очень серьезное в моем отношении к Вам не допускает этой так называемой „теплоты“, т. е. открытой теплоты! Помните, я когда-то говорил Вам, что мы никогда не будем на „ты“? И это мое серьезное чувство. Я не могу и не должен допускать этого „ты“. Может быть, это только „покамест“. Не знаю. Я чувствую это так глубоко, что считаю это голосом совести».

Лишь невинным смущением и привычкой подавлять «страсти», блюсти чистоту в своей «ученой горнице» такое поведение Ухтомского оправдать было нельзя, – как бы Варваре Александровне этого ни хотелось.

Это уже был взгляд, исключаяющий всякие компромиссы с греховной обыденностью – *человеческое* всецело подчинялось *воле Божией*. И похоже, Ухтомский перед житейской суетой не пасовал, а последовательно держался однажды избранной линии поведения. В октябре 1912 года он вновь просил Варвару Александровну отложить их венчание до рождественских каникул...

Как развивались их взаимоотношения в дальнейшем?

Внешне все оставалось по-прежнему. Переписка с той же степенью доверия продолжалась. Ухтомский, так и не решившийся на свадьбу, не меньше, если не больше, нуждался в человеческом участии Варвары Александровны. Однако в ее душе что-то дрогнуло, надломилось, исчезла свежесть на-

дежды. Забыть, разлюбить Алексея Алексеевича и порвать с ним она уже не могла, но сама ее любовь преображалась и все чаще напоминала материнскую заботу, бескорыстное служение брату по вере.

Летом 1914 года в Россию из Европы ворвалась война и провела в истории страны роковую межу, став предвестником великой русской смуты.

Ухтомский признавался Варваре Александровне: «Нутро мое предчувствует многие беды», – и сам пугался своих прозрений, звучащих диссонансом в благонамеренном обществе. «Мне лично, – писал он из Рыбинска в 1915 году, – ужасно тяжело за наш *народ*, за тот простой и коренной народ, который сейчас молчаливо отдает своих сыновей на убой, но мне не тяжело за *общество*, за все эти „правлящие классы“ и „интеллигенцию“, которым по делам и мука». Ему претила нелепая иллюзия «боевой интеллигенции» обратить народ в «свою веру», вызывала гнев самонадеянность «благородных» граждан, уповавших на всемирный «прогресс».

Варвара Александровна послушно внимала рассуждениям Алексея Алексеевича, вряд ли так уж постигая их провиденциальный смысл. Социально-исторические проблемы, волновавшие Ухтомского, тот взгляд на мир, какого он придерживался, претензии к интеллигенции и Церкви, сетования по поводу российских нравов и порядков, – все это трогало ее, так как исходило от него, и Варвара Александровна хорошо усвоила свою роль отзывчивого слушателя.

Осенью 1916 года Ухтомский адресовался к Варваре Александровне: «Дорогой друг, если бы я ушел теперь туда, куда меня звали, в Воскресенский монастырь, то это не значило бы, что мы с Вами расстаемся, а значило бы то, что говорил, уходя в пустыню, преподобный Алексей Человек Божий своей невесте: „Пождем, когда благодать Божия устроит с нами нечто лучшее...“ Если Вы были бы невестой моей в обычном смысле слова, то я мог бы решать, „как скажет моя душа“. Но с Вами я не могу не быть вместе, так что вместе же должен решать и уход на служение в иночестве. Когда Вы укрепите меня, у меня будет вдвое сил, чтобы преодолеть себя, свое миролюбие, любовь к родному углу и попробовать быть учеником Христовым...» И тут же добавлял: уйти из университета до конца войны не имеет морального права, это будет похоже на «бегство с поста в критическое время».

Университет он не покинул, а мысль о монастыре в тот момент, казалось бы, оставил. Однако тяжкий путь его духовного восхождения продолжался, его изначальное стремление к самоочищению крепло, и спустя несколько лет – в 1921 году, в обстоятельствах уже совсем иных, не менее беспросветных, – Алексей Алексеевич по некоторым сведениям все-таки тайно принял иночество с именем Алимпий, тем самым как бы окончательно узаконив столь желанное для него положение «монаха в миру».

Их переписка с Варварой Александровной несмотря ни на что продолжалась, хотя часть писем, вероятно, пропала,

не сохранилась, другие были отосланы в спешке, с неожиданно подвернувшейся оказией... Алексей Алексеевич стал в письмах душевнее, искреннее, участливее, а Варвара Александровна еще нежнее, еще упрямее в своем усердии поддерживать друга в лихую годину. Сама тональность их диалога стала иной, они будто поменялись ролями, и уже Алексей Алексеевич просил душевной милостыни, тратя «последний запас сил». Когда рушились все прочие опоры вокруг, надежным прибежищем оставалась выпестованная ими любовь, и Варвара Александровна сторицей воздавала своему строгому учителю за его старания, принимая на себя роль утешительницы.

Они остались близкими людьми, встречались изредка в Петрограде, ставшем Ленинградом, и Москве, где Варвара Александровна теперь жила, по первому зову готовы были броситься на помощь друг другу; их сердечную привязанность и духовное родство ничто не могло поколебать, — только вот их переписка после 1922 года, кажется, потеряла прежнюю интенсивность. Пошла ли она на убыль? Трудно сказать. Писем Алексея Алексеевича к Варваре Александровне за 1922–1929 годы не обнаружено, но, судя по всему, они были. А сколько писем послала ему она, можно лишь гадать, в наличии сейчас всего два, и письма эти — как странички, вырванные из знакомой книги: на них лежит печать узнаваемого текста с характерной, непередаваемой интонацией.

21 июля 1925 года Варвара Александровна писала: «За последние две недели я почему-то очень тревожусь за Вас, Алексеюшка, какая-то душевная теснота заполняет нет-нет душу, Бог знает, не случилось ли с Вами чего, не больны ли вновь...» Почему – «вновь»? Видимо, когда заболел, он сообщал ей об этом, а она не стеснялась напомнить о себе, если он почему-либо долго не отзывался. «За это время Вы, как было раньше, близко подошли ко мне, – продолжала Варвара Александровна, – я рада этому чувству, потому что не чувствовать Вас своим другом мне было тяжело, вот и захотелось написать Вам несколько слов...»

В 1930-е годы Ухтомский жил еще настороженнее, чем прежде. Он совсем перестал доверять почте, письма иной раз подписывал фамилиями из своей родословной: А. Каргаломский либо А. Сугорский, а о себе упоминал как о некоем Лёле (так его когда-то звали домашние). Разрозненных писем этого периода к Платоновой сохранилось немного, но они красноречиво передают моральное состояние Ухтомского тех лет.

Одно из этих писем – от 29 августа 1930 года.

Судя по ласковому тону, душевная связь Алексея Алексеевича и Варвары Александровны ничуть не ослабла, если не возросла. Варвара Александровна уже, кажется, переселилась из Москвы в Калугу: то ли вынужденно, то ли добровольно, поближе к Оптиной пустыни, – с намерением в тихом провинциальном городке скрыться от преследований за

веру, а может быть, имелись тому и другие причины. Московскую квартиру своих друзей в Брюсовом переулке она навещала наездами, и квартира эта стала передаточным пунктом их писем, доставлявшихся с оказией.

Другое из известных нам писем к Платоновой – спустя четырехлетие – от 2 сентября 1934 года.

«Дорогой друг Варвара Александровна, прежде всего привет Вам от Всякого дыхания, от Владимирской, от Ярого Ока, от Благого Молчания и от Не рыдай мене мати, – пишет Алексей Алексеевич, глядя на домашние иконы. – Весь уголок посылает Вам мир и благословение. А Вы пожелайте от души, чтобы он сохранился подольше в поддержку и в укрепление падающим силам...»

И следом предостерегает Варвару Александровну от излишней откровенности на бумаге. Он имеет основания думать: официальных охотников до их писем хватает, и надо быть «сугубо бдительным, чтобы не разыгрывать пьес по тем нотам, которые тебе представляются сторонними наблюдателями». Его осмотрительность вынужденная. «Полоса жизни и истории, в которую мы вошли и в которой приходится идти, – объясняет Алексей Алексеевич, – полна научения и содержания для того, кто имеет открытым слух и способность видения. Но вот чтобы сохранять слух и способность видеть, нужна бдительная дисциплина внутреннего человека...»

В такой обстановке письма в Калугу служили Алексею Алексеевичу целительной душевной разрядкой. Из отправ-

ленных им в 1937 году известны два: от 6–7 апреля и от 12 декабря, письмо, адресованное Клавдии Михайловне Сержпинской, ближайшей подруге Варвары Александровны, подписанное именем, взятым из родового древа – А. Сугорский.

Весной 1938 года Алексей Алексеевич привычно ссылался на усталость, «надрывы памяти», не строил планов на лето, говорил лишь о предчувствиях, «большей частью нерадостных», и вновь тревожился, что «насиженные места придется оставлять».

Самое же огорчительное – его, к несчастью, стали посещать навязчивые дурные настроения, вызванные «внутренним трением сложной человеческой каши, через которую лежит путь». «Одна из несомненных больных линий в нашей жизни, – писал он, – подозрительность. Я ее терпеть не могу, и всегда был рад тому, что мог себя считать свободным от нее. В людях, с которыми приходилось встречаться, я видел в особенности их добрые черты, а отрицательные отводил в сторону. И это помогало завязывать добрые отношения. Теперь я начинаю все чаще видеть в себе именно подозрительность, нездоровую мнительность в отношении людей».

Душевный разлад удручает Алексея Алексеевича, он просит у калужан прощения за редкие ответы, – это не от лени и «произвола», а потому, что в «отягощенном состоянии внутреннего человека» беседы не беседуются.

В письмах 1940 года Алексей Алексеевич продолжал летать «в шапке-невидимке» в калужский уютный домик, в

тихую комнату под абажуром и прикоснуться к спасительному миру, призывая друзей «пободрее идти нашими дорогами». Противясь унынию, он писал: «Старики никому не нужны по тем обычаям, которые входят в силу. Поэтому не скажешь, найдется ли угол, где возможно было бы видеть покой и хоть частичное безмолвие напоследях, – а они нужны, чтобы собраться с мыслями и силами! Впрочем, говорить по этим направлениям – значит так или иначе малодушничать...»

Ухтомский сообщал калужанам, что располагает достоверными данными – все его почтовые отправления «регистраются в любознательных учреждениях». «Я живу в последние месяцы, – признавался он в феврале 1940 года, – разными предвидениями испытаний и перемен, от которых Господь пока отводит, но которые все-таки часто и твердо напоминают о себе. Очень много врагов, сознательных и несознательных, оказывается за последнее время».

А через год грянула Отечественная война.

С августа 1941-го до июня 1942 года Алексею Алексеевичу и Варваре Александровне не удавалось «перекликнуться словом», а в июне он сообщил ей, что был счастлив, получив ее письмо, что он «болен и слаб от ноги, которая делает его калекою, и от пищевода, который дурно пропускает пищу».

Он с профессиональным хладнокровием оценивал свое состояние и в июле 1942 года писал Варваре Александровне: «А мне вот стукнуло 67 лет! Срок по нашей семье очень большой. За то и немощи начались, как в старом доме: не

успеваешь заметить, где садится сруб на землю, где перекосило угол и стену, а где сдают балки!»

В последний раз он обращался к ней 22 июля 1942 года: «Вчера получил Ваше письмо, добрый мой друг, и сегодня, в Магдалинин день, пишу, чтобы не откладывать. Очень ждал я Ваших строк, как Вы наверно чувствуете, там вдали...» Алексей Алексеевич утешал Варвару Александровну: болезнь пищевода не злокачественная, – хотя сам, думается, не питал уже никаких иллюзий. «Иногда я ем и тогда несколько подкрепляюсь, – рассказывал он в своем прощальном письме, – а иногда ничего не могу съесть за день, тогда очень слабею. Возраст мой для нашей семьи большой и немощи мои в порядке вещей. Жаль, что они совпали со столь трудными, жесткими для отечества и народа днями! Так нужны сейчас все силы... Простите и помните Вашего преданного А. У.»

31 августа 1942 года Алексей Алексеевич Ухтомский скончался.

И. Кузьмичев

Правда сердца Письма к В. А. Платоновой (1906–1942)

1

9 мая 1906

Дорогой друг, я не могу больше к Вам ходить, потому что мне тем противнее и безобразнее кажется хотя бы один намек на «получение каких-то прав над Вами», чем больше я Вас люблю. Понимаете ли, что чем больше любит Вас моя главная личность, тем больше она отворачивается с ужасом от другой, скверной моей личности, тем больше хочет предостеречь Вас от нее. В этом великая скорбь для меня, но раскол душевный постоянно уже давно.

Тяжело это и смертельно тяжело потому, что что бы я ни делал и ни писал доброго, хорошего, у меня чувство такое, что делаю и пишу для Вас. А между тем не могу дать Вам знать об этом, ибо от того, скверного человека, нижней моей личности, убежать не могу.

Скорбит душа моя до смерти! Господи, ведь Ты-то все можешь сделать. В Тебе мы сосредотачиваем наше всемогущество. Соедини Ты нас, если можно, во славу Твою, в Тебе

самом...

13 августа 1906

Многоуважаемая Варвара Александровна, очень мне грустно, что не могу воспользоваться Вашим добрым приглашением на это воскресенье. Хотя я уезжаю только в Успенъев день, но меня удерживают эти дни в Петербурге отчасти некоторые спешные дела, которые надо сделать до отъезда, главное же, весьма тяжелое настроение под влиянием рыбинских известий и в предвкушении тамошних впечатлений, – настроение, которым могу быть только в тягость всем вам. Помимо глупых дразг в моем доме, отнимающих последний покой у бедной сестры Лизы, какая-то глупая и злая судьба делает так, что Лиза с болезнью мужа должна опять встать в зависимость от бездушной, безгранично эгоистической матери. И мало того, что, с постепенным умиранием мужа, у Лизы рушится все «свое» и «любимое», у нее пропадает теперь и то «родное», что казалось ей таким до замужества. Мать теперь решительно отталкивает Лизу от себя и не хочет ее видеть, злобствуя за ее якобы участие в ненавистном для княгини сватовстве сестры – Марьи.

Вот она где – тупая и слепая злоба проклятого мещанского мирозерцания! «Дух глухий и немый», которого не побеждают не только жалкие попытки социалистов, но и сам Христос.

Впрочем, я хотел писать не о том, а хотел обратиться к Вам с покорнейшей просьбой: если можно, – не устраивайте, пожалуйста, до меня хоругвий, о которых говорили в последний раз. У меня будет свободное время после 1 сентября, когда надеюсь вернуться в Петербург, и тогда мне хотелось бы спроектировать и обработать хоругви посерьезнее.

Если это дело не очень спешное, то сделайте так, пожалуйста. Эта работа была бы для меня очень приятною, и я на ней отдохнул бы.

Мой искренний привет всем Вашим.

Преданный А. Ухтомский

6 июля 1908

«Если, говоря людям, заденешь словом своим общее всем, тайно и глубоко погруженное в душе каждого истинно человеческое, то из глаз людей истекает лучистая сила, насыщает тебя и возносит выше их. Но не думай, что это твоя воля подняла тебя: окрылен ты скрещением в душе твоей всех сил, извне обнявших тебя, крепких силою, кою люди воплотили в тебе на сей час; разойдутся они, разрушится их дух, и снова ты ровен каждому...» «Невозможно исчислить разнообразие людей и выразить радость при виде духовного единства всех их...» «Жалко их, и жалко силу веры, распыленную в воздухе...» «Схватили меня, обняли, и поплыл человек, тая во множестве горячих дыханий. Не было земли под ногами моими, и не было меня, и времени не было тогда, но только радость, необъятная, как небеса. Был я распыленным углем пламенной веры, был незаметен и велик, подобно всем окружавшим меня во время общего полета нашего...» «Ночью я сидел в лесу над озером, снова один, но уже навсегда и неразрывно связанный душою с народом, владыкой и чудотворцем земли».

Вот, матушка моя, сколько я Вам выписал из этой замечательной книги. Повторяю, со стороны художественной, психологической правды она – редкий цветок. Если говорить о

философской стороне, тут будет много спору. Сейчас я не буду говорить об этой стороне. Во всяком случае, и тут, с моей точки зрения, автор чрезвычайно близок к правде. Выписки мои дадут Вам, конечно, только конспект того, как идет душевная жизнь рассказчика. Прочтите-ка книгу-то!

Мне думается, что Вы поймете из нее лучше, чем из моих слов, и то, что так меня привлекает в народной вере и церкви <...> не в той вере и церкви, которую обделали по-своему, на свой вкус и потребу «белая кость» с попами. Понимаете ли, что во всем пошибе, во всех мелочах господской и поповской церкви сквозит оскорбительная претензия «поднять и облагородить» народную веру и церковь; странная, грубая, невежественная претензия поднять и облагородить то, что выше и благороднее их!

Ищет народ. Хочется быть с народной душой!..

6 июня 1910

Я не помню, писал ли я Вам о моих богословских взглядах, которые хочу я когда-нибудь развить. Кажется, что вкратце писал я Вам об этом.

Теперь мне опять хочется говорить об этом, потому что горьковская «Исповедь» подняла во мне старые мысли.

Кругом нас, в близкой нам окружающей действительности Бога не видно. Мы и все люди – ждем Его, разыскиваем, болеем тем, что в ближайшей действительности Его нет. Его пока все-таки нет. Он – предмет нашего желания и предчувствия, любви, ревности и пр., но Он не есть нечто нам уже данное. Это и значит, что мы веруем в Него, хотя Его еще и нет.

Бог – это центральная идея, с которой носится человек в истории. Вся история – ряды человеческих попыток *осуществить Бога*. Это стимулирующая, творящая идея истории. Если бегло пройти мыслью через историю Древнего Востока, Египта, Иудеи, Греции и Рима, развитие движения человечества будет сказываться в том, как там и тут осуществлял себе Бога человек, как понимал Его, как «открывался» Он ему. «Каков Бог данного человека или данного момента истории, таков сам человек и момент истории». В истории человек постепенно открывает Бога, и, по словам ап. Павла,

«вся тварь с нетерпением ожидает откровения сынов Божи-их».

Итак, Бог есть то, чего пока, в ближайшей действительности, *еще нет*, то, во что, однако, постоянно *верует* человек, чего ищет, за всемирную историю свою, и что *осуществляется* в меру веры и разумения человеческого.

По идее церковной письменности, Бог будет постоянной и ближайшей действительностью тогда, когда «царствие Божие придет в силе»; это значит, что тогда, хотим мы того или не хотим, Бог будет перед нами, – будет настоящим, судящим нас фактом. До тех пор Бог не стоит перед нами настоящим фактом, но осуществляется для нас настолько, *насколько мы верим и хотим Его осуществления*. «Егда Бог яве над станете» – это, по церковной идее, день *Страшного Суда*. До тех пор Бог не стоит над нами «яве» (явно) и Божия жизнь плодится самим человеком в меру его веры, прозорливости, духовного возраста: «Словом тя проповедавшие пророцы, и делами почеташии, бесконечную жизнь приплодиша». Одним словом, принудительности никакой нет, когда человек начинает верить в Бога: вера и истина доселе зависят от воли и свободы человека, следовательно, от качеств самого человека, а не суть дело принуждения. *Только потом и постепенно вера и истина осуществляются, оправдываются в силе, т. е. уже в принуждении – хотим мы ее или нет*. И очевидно, что пока мир течет так, как течет он до сих пор, никогда элемент человеческой воли и свободы

– элемент веры – не будет совсем исключен из его истины. Это, в самом деле, будет страшным переломом и концом теперешнего течения мира, «егда Бог яве надстанете», кончив свободу и осуществив веру человечества. Истина вполне открывается – это нечто страшное для нас; люди мало над этим думают.

Что же из этого следует. Следует, что Бог и истина не есть только греза или «сон души человеческой», созданный для того, чтобы как-нибудь удовлетвориться, как-нибудь забыть-ся от действительности. О нет! В определение истины входит гораздо более то, что она судит, ограничивает, требует, чем то, что она удовлетворяет. Человек творит новое в мире, благовествуя на свой страх Богу миру; но это же новое и судит его. Это и значит, что человек не ограничивается возвращением лишь того, что получил (что было бы простым, пассивным и ленивым «применением к действительности»); но он, на основании действительности, на основании того, что получил, «творит другие пять талантов», вносит их – свои плоды – в мир, и отныне они уже делаются *фактом*, судящим его и мир, хотя бы они того или нет. Одним словом, *Бог – не субъективная греза души, но – по мере того как человек открывает и осуществляет Его – есть стоящая перед ним и судящая его сила.*

Такова, по-моему, природа человеческой веры, истины и знания, такова природа жизни и развития. Это с Духовной Академии и есть моя философская вера, и развить ее – моя

надежда. Вы понимаете, как дорого мне было читать у М. Горького столь близкие и родственные понимания! Ужасно дорого чувствовать, что не один ты так думаешь, но есть люди, пришедшие к тому же, к чему пришел ты. И тем более хорошо это, что тут думающим так оказывается М. Горький, искренний и сильный русский человек, говорящий не только сам за себя, но и за момент, переживаемый русским народом.

Вы понимаете, конечно, что все эти понимания и мысли требуют тщательного развития, тщательной обработки. Я потому и не говорю о своих пониманиях, что считаю их совсем не разработанными. Тут еще много неясного! И у Горького бросается в глаза то, что он не освоился со своими пониманиями. У него есть и прямые противоречия себе. Он ведь, например, ярко подчеркивает, что Бог не есть простое «самоудовлетворение» и «самоуспокоение» отчаявшихся, измученных, слабых душ. Бог открывается, по Горькому, лишь свободным и сильным духом. И, с другой стороны, в конце книги выходит как будто, что Бог есть исключительно творение народа. Тут явная неясность. Надо выяснить, какова природа этого «творения народа»...

7 июня 1910

С праздником, добрый друг, Варвара Александровна, с добрым солнечным, летним праздником – Троицыным днем, в который отцы наши в первый раз после Светлого дня преклоняли колена и, проливая на цветы слезы – столько слезинок, сколько было в руках цветиковых лепестков, – возвращались к обычному течению страдного, природного года. Пред прощанием с уходящим до будущего года Великим Праздником они, наши старики, – склонившись на цветы, вспоминали отшедших отцов и предков своих, раньше них прошедших жизненную страду. Вспоминал и я сегодня, на троицыных цветах, отшедших моих и Ваших: тетю Анну, отца, дедов, отца Вашего, Ольгу Александровну, рабов Божиих Павла, Григория. Полна была их жизнь, и прошла она. Теперь мы на их черед. Дай, Боже, пройти ее, не утерев пути Христова!.. Дорого яичко в Христов день, – дороги и цветы в день Троицын.

А Вы не сетуйте на меня, что молчал до сих пор. Ведь адреса Вашего я не знал, – не могли мне сообщить его ни дворник, ни швейцар в Вашей квартире. Ходил я дважды, чтобы Вас встретить, но не встретил. <...> Только с неделю как получил Ваш адрес от Никольских и хотел сам поехать к Вам на дачу, а не писать. Но пока что выбраться не могу,

и потому вместо поездки пишу.

Все это время с Вашего отъезда вхожу в свою работу над корковыми центрами. Море это великое и пространное не только по литературе, написанной уже на эти вопросы, но и по существу фактов, какие открываются при эксперименте. Трудно пока уловить ариаднину нить, которая руководила бы в этом лабиринте. В последнюю неделю опыты были неудачны: три кошки подряд умерли до окончания операции. Подобная вещь наблюдалась у меня и в прошлые годы, после сильных жаров (например, в прошлом году в середине июля): очевидно, тяжелая жара дает себя знать и на организме животного, – хлороформ выносятся ими в этих условиях с трудом. <...>

Я не могу еще считать, что моя работа вошла в колею; пока что она идет вяло; дает себя чувствовать утомление от зимней суеты по чужим делам; кроме того, не успокоились еще и различные дела с гимназией и посетителями. В последнее воскресенье, – легко сказать, – у меня было подряд, один за другим, *по пяти* посетителей, из которых по крайней мере трое по неотложным делам. Само собою, это не благоприятствует сосредоточению внимания на текущую работу. Но, надеюсь, эти посещения и дела приходят к концу, и теперь я сяду за дело вовсю – т. е. не только за опыты, но и за чтение литературы в свободные от опытов дни.

Статья моя «О церковном пении» ужасно задержалась в печатании. Она оказалась чрезвычайно длиною, и оттого

нелегко включить ее в газету, забитую думскими и всякими другими отчетами. <...>

В статье я в значительной степени высказался по моему наболевшему вопросу о церковном искусстве. Не знаю, принесет ли это какой-нибудь хороший плод, но у меня была настоящая потребность сказать, что у меня наболело. <...> При всех очень многих своих недостатках, эта статья мне очень дорога. И скажу Вам по секрету: *мне дорого было бы, если бы прочли ее не мимоходом, не поверхностно именно Вы. Я пришлю ее Вам на днях.*

Проводил на прошлой неделе семью Лашинских; а теперь провожаю Мякутиных. Это навевает какое-то грустное чувство: Лашинский – моя связь с прошлым, Мякутин – человек из настоящего, один из немногих, с кем у меня так много общего. <...>

В прежнее время я не так грустил, расставаясь с людьми, потому что верил, что стоит покопаться – и везде найдешь в человеческой душе то, что тебе родственно и дорого. А теперь я состарился, нет уже энергии для разыскивания *своего* в людях, и оттого хочется крепко держаться за то, что уже дано, и грустно, когда свои люди (свои по духу) уходят вдаль.

До свиданья. Не сетуйте на меня, ради Бога.

Сердечный мой привет Вашим.

Ваш А. Ухтомский

20 июня 1910

Милый друг Варвара Александровна, вот ведь не приходится поехать в Александровский поселок, да и только. Уж непременно думал сегодня быть в Вашей Палестине, но... кошелек мой оказался пуст, *совершенно* пуст до понедельника. Сейчас лежит в моем кошельке только... лабораторный ключ! <...> И я так не привык, что в кошельке ничего нет, что вчера вечером преспокойно сидел в вагоне трамвая до своего угла – 16-й линии, не зная, что заплатить мне нечем, и... кондуктор меня *выгнал*, «*выгнал*»! Вы не можете и представить себе, как это было стыдно и скверно!

На этой неделе у меня вообще были горя, т. е. не то чтобы настоящие горя, а такие маленькие события, которые помаленьку создали смутный осадок на душе. Во-первых, умер кролик, старший, который в прошлом году был в Рыбинске. В последние дни он был ужасно скучен, – ничего не ел и не пил, все сидел, уткнувшись носом в пол. Подлец маленький кролик пользовался его слабостью и, пробираясь в кухню в мое отсутствие, грыз бедного старика. Утром третьего дня старик умер.

Затем начались кляузы по училищу <...> отец Семен пустил в газеты, без моего ведома, объявление от училища, где сказано, что оно «с правами правительственных» и что оно

с будущего года будет в новом специальном здании. И то и другое есть ложь. <...> Я предполагаю уйти из заведующих, хоть и очень жаль мне оставлять это дело, – дело молодое и по замыслу очень хорошее. Но я все равно не могу быть настоящим заведующим, уделяя так мало времени на училище. <...>

А как Вы думаете, отчего это русский человек так странно в большое и хорошее дело вносит обман; отчего это «предприимчивость» у русского человека сделалась синонимом «вороватости»? Ведь у нас в приходе все – чисто русские люди и, несомненно, воодушевлены лучшими намерениями, когда утруждаются до того, что прибегают даже к обману?

Чудное это дело. А между тем у нас это на каждом шагу. «А у нас, брат, толкуют, что в русском человеке предприимчивости мало! А как тебя послушать, так, пожалуй, ее даже больше, чем следует!» (Салтыков-Щедрин). Это так беседуют у великого писателя интеллигент с добрым деревенским мужиком. И это ведь не то чтобы признак какого-нибудь временного «развращения нравов». Это черта, так и пробивающаяся в нашей истории с самых «собирателей Руси».

Я надеюсь быть у Вас в понедельник, получив деньги.
До свиданья.

Ваш А. Ухтомский

Дорогая Варвара Александровна, во-первых, сегодня мне ужасно хотелось Вас видеть и поговорить: вчера было совсем не разговорное настроение, – на заказ его не сделаешь.

Во-вторых, сегодня у меня удивительный день. Я пошел взять билет и возвращался по Невскому пешком; при этом я встретил одного за другим 4-х старых, очень старых своих знакомых, которых не видел много лет. Вот они по порядку встречи:

1) Подполковник Кулябко, начальник Жандармского отделения в Киеве; не видал его с 1890 года, когда он окончил корпус.

2) Владыка Арсений, бывший Волынский викарий, нагасакский миссионер и затем епископ Сарапульский. Не видал его с 1900 года.

3) Подполковник Раттель, фельдфебель моего выпуска из корпуса, бывший на последней войне в качестве адъютанта одного из действовавших корпусов в Восточном отряде. Не видал его с 1901 года, когда он окончил Академию Ген. штаба.

4) Полковник Надежный, с которым мы усиленно дрались в корпусе. Был на войне, тяжело ранен пулей в живот (под Шахэ). Не видал его с 1892 года, когда он окончил корпус.

И все эти встречи на протяжении одного часа!

Пронеслась почти вся жизнь перед глазами! И уже мы начали сесть! У Раттеля борода седая, – говорит, что поседел на войне, так было тяжело. В особенности тяжело вспоминает одну ночь, когда командир корпуса, сделав распоряжения, уехал куда-то вперед, а уводить с позиций корпус *с боем* пришлось не кому иному, как ему – Раттелю! Тут, в одну темную, скверную ночь, пришлось пережить, по его словам, больше, чем за целые годы.

Надежный тоже с большой сединой в голове, но лицо осталось совершенно то же, что было. За Шахэ получил Георгия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.